



ТАЛОМАН



Богатенья

Генри Лайон Олди
Богадельня

Бывший фармацевт-отравитель при дворе Фернандо Кастильского становится ревностным монахом. Смешной подросток из села Запруды — бродягой, а там и наследником короны. Дочь Гаммельнской Пророчицы — талисманом хенингского Дна. И, этаж за этажом, воздвигается новый Столп Вавилонский, взамен разрушенного однажды. А все потому, что иранский врач Бурзой, прозванный Змеиным Царем, шесть веков назад решил изменить мир к лучшему...

Оглавление

Preludium

I

II

III

IV

V

VI

Книга первая

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL

Preludium

I
II
III
IV
V

Книга вторая

XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII

[LIV](#)

[LV](#)

[LVI](#)

[LVII](#)

[LVIII](#)

[LIX](#)

[LX](#)

[LXI](#)

[LXII](#)

[LXIII](#)

[LXIV](#)

[LXV](#)

[LXVI](#)

[LXVII](#)

[LXVIII](#)

[LXIX](#)

[LXX](#)

[LXXI](#)

[LXXII](#)

[Preludium](#)

[I](#)

[II](#)

[III](#)

[Книга третья](#)

[LXXIII](#)

[LXXIV](#)

[LXXV](#)

[LXXVI](#)

[LXXVII](#)

[LXXVIII](#)

[LXXIX](#)

[LXXX](#)

[LXXXI](#)

[LXXXII](#)

[LXXXIII](#)

[LXXXIV](#)

LXXXV

LXXXVI

LXXXVII

LXXXVIII

LXXXIX

XC

XCI

XCII

XCIII

XCIV

XCV

XCVI

XCVII

XCVIII

XCIX

C

Preludium

I

II

Итак, мы в общих чертах проследили разные методы воспроизведения чудесного и сверхъестественного в художественной литературе; однако приверженность немцев к таинственному открыла им еще один литературный метод, который едва ли мог бы появиться в какой-либо другой стране или на другом языке. Этот метод можно было бы определить как *фантастический*, ибо здесь безудержная фантазия пользуется самой дикой и необузданной свободой, и любые сочетания, как бы ни были они смешны или ужасны, испытываются и применяются без зазрения совести. Другие методы воспроизведения сверхъестественного даже эту мистическую сферу подчиняют известным закономерностям, и воображение в самом дерзновенном своем полете руководствуется поисками правдоподобия. Не так обстоит дело с методом *фантастическим*, который не знает никаких ограничений, если не считать того, что у автора может наконец иссякнуть фантазия. <...> Внезапные превращения случаются в необычайнейшей обстановке и воспроизводятся с помощью самых неподходящих средств; читателю только и остается, что взирать на кувыркание автора, как смотрят на прыжки или нелепые переодевания арлекина, не пытаясь раскрыть в них что-либо более значительное по цели и смыслу, чем минутную забаву.

Английский строгий вкус нелегко примирится с появлением этого необузданно-фантастического направления в нашей собственной литературе; вряд ли он потерпит его и в переводах. <...> Мы искренне полагаем, что в этой области литературы «tout genre est permis hors les genres ennuyeux»,^[1] и, несомненно, дурной вкус нельзя критиковать и преследовать столь же ожесточенно, как порочный моральный принцип, ложную научную гипотезу, а тем более религиозную

ересь. <...> Но самое большее, с чем мы можем примириться, когда речь идет о фантастике, — это такая ее форма, которая возбуждает в нас мысли приятные и привлекательные. <...> Нет никакой возможности критически анализировать подобные повести. Это не создание поэтического мышления, более того — в них нет даже той мнимой достоверности, которой отличаются галлюцинации сумасшедшего, это просто горячечный бред, которому, хоть он и способен порой взволновать нас своей необычностью или поразить причудливостью, мы не склонны дарить более чем мимолетное внимание.

Сэр Вальтер Скотт, баронет.

«О сверхъестественном в литературе».

Журнал «Фореин куотерли ревью», 1827 г.

Preludium

— Значит, чем более важно дело стражей, тем более оно несовместимо с другими занятиями — ведь оно требует мастерства и величайшего старания.

— Думаю, что это так.

— Для этого занятия требуется иметь соответствующие природные задатки.

— Конечно.

— Пожалуй, если только мы в состоянии, нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен для охраны государства.

— Конечно, это наше дело.

Платон. «Государство»

Душегуб задерживался.

Солнце плавилось в тигле оконных витражей. Злое солнце февраля, жгучая ледышка зимы. Капли стекали в тронную залу, брызжа радугой на настенные шпалеры с оленями и трубадурами. Дерзко пятнали — пурпур! зелень! лазурь!.. — ослепительно белые сорочки рыцарей. Вассалы Дома Хенинга стояли рядами: ноздреватые сугробы, готовые скорее растаять под напором света, чем пошевелиться. У многих, чей род древностью соперничал с герцогским, были до локтей закатаны рукава, и ладони, много поколений не знавшие позорной тяжести оружия, гордо лежали на кожаных поясах.

Орден Колесованной Рыбы ждал.

Еще прадед нынешнего герцога Густава учредил орденский устав, огласив его во дворе замка. И он же, в качестве командора, преломил меч на плече первого из рыцарей Колесованной Рыбы — своего наследника, тогда еще молодого графа Вальриха цу Бальзенан. Осколки двуручного фламберга звонко ударились о плиты, которыми был вымощен двор, дружина

выдохнула здравицу, и с тех пор цвет Хенинга готов был рискнуть головой в бою или на турнире, лишь бы обрести право вышить на правом плече знак: рыба, заключенная в колесо.

Левое плечо — для фамильного герба.

Семья — к сердцу, орден — к силе.

Сегодня никто не дерзнул явиться, закутавшись в плащ, подбитый октябрьским бобром, или блистая пряжками камзола. Галапский атлас? ассагаукский бархат?! парча из Клеркуэлла, искусно шитая канителью?! — ничуть. Полосатые штаны до колен, перечеркнутые по талии тисненой кожей поясов, и белизна сорочек делали рыцарей похожими на странных шершней-альбиносов. Гордецы, сердцееды, *maîtres de courtoisie*,^[2] юные сорвиголовы и седые паладины, успевшие вдоволь навоеваться в Святой Земле, — не умеющие ждать, они стояли молча, потому что Душегуб задерживался.

— *Nemo contra Deum nisi Deus ipse!*^[3] — донеслось снаружи, от замковой часовни Св. Юста.

На возвышении, в левом из двух кресел, сидела герцогиня Амальда, урожденная баронесса Лафарг. Тронный балдахин сходил над ней, блистая позолотой картуша. Бесстрастной статуей, уронив руки на точеные подлокотники, она смотрела поверх непокрытых голов, и солнце зимы тонуло в аспидно-черных омуты глаз. У ног Амальды Хенингской дремала ее любимица, борзая по кличке Лэ, и неподвижность собаки казалась вихрем в сравнении с неподвижностью герцогини. Пройдя Обряд около полувека назад (супруга дворянина, в чьей семье однажды родился Ответчик, не знала отказа), она мало изменилась с того дня. Рядом с дочерьми — старшей, ожидавшей внизу со своим супругом, бароном цу Ритерзиттен, и младшей, вдовствующей виконтессой Зигрейн — мать выглядела сверстницей, хотя младшая

была тридцатилетней, а старшей в прошлом году сравнялось сорок пять.

Волосы цвета спелой ржи уложены башней. Бледная, слишком бледная кожа туго обтянула скулы. Бритва переносицы. Рослые, сильные, надменно-спокойные дамы: мать и дочери. Слово вековые липы в парке, опоясанные каждая прочной каменной изгородью. Мало кто допускался внутрь отдохнуть на скамье под деревом, и еще меньшее количество людей могло похвастаться, что было допущено за незримую стену, отгораживавшую герцогиню Амальду от прочих творений Господа нашего.

Борзая подняла голову.

Распахнулась в зевке острая щучья пасть.

Но Душегуб задерживался, и это стало единственным движением в зале.

— *Beati quorum tecta sunt peccata!*^[4] — ударилось в окна, подкрепленное россыпью хрусталя с малой звонницы.

Правое кресло, украшенное зубчатым венцом, пустовало. Человек, занимавший его по праву рождения, стоял у крайнего окна, легко опершись на подоконник. Цветные стекла изображали спелые гроздья винограда, перевитые лозами, и сиреневый отблеск ложился на лицо человека, превращая наследственную худобу в изможденность. Сирень впалых щек. Сиреневые борозды морщин. Складки у красиво, может быть, слишком красиво очерченного рта. И ночь глубоко посаженных глаз. Такие лица обычно называют птичьими, но здесь скорее подходило сравнение с муравьем или «травяным монашком». Густав-Хальдред, прозванный Быстрым, XVIII герцог Хенингский, был знаком с ожиданием понаслышке. Всего дважды ему довелось томиться в предвкушении желаемого. Первый раз — почти шестьдесят лет тому

назад, во время собственного Обряда. Но тогда Душегуб опоздал на минуту-другую, так что первый раз, пожалуй, не в счет.

И вот — сейчас.

Герцог Густав машинально дернул плечом. Жеста не уловил никто: так, легкая рябь воздуха, шутка сквозняка. Впрочем, даже вспрыгни Густав Быстрый на подоконник и вернись обратно, вряд ли многие успели бы заметить вольность господина. Наверняка — жена. Баронский род Лафарг стар... да, конечно, жена заметила бы. На миг раньше, чем ее любимица борзая. Скорее всего — гюрвенал наследника, *шатлен* Эгмонт Дегю, как называли не обремененных титулами владельцев собственных замков. Очень вероятно — старший зять и десяток вассалов из самых знатных. И все. Самому герцогу это было прекрасно известно, иначе он никогда не позволил бы себе проявления чувств на людях. Как не позволил бы вслух, в лицо или при посторонних, вульгарно назвать Душегубом уважаемого мастера Филиппа ван Асхе. Укорить за опоздание, разгневаться или мимоходом велеть слугам повесить долгожданного мастера Филиппа на воротах — нет. Для Густава Быстрого существо, носящее имя «Филипп ван Асхе», было сегодня сродни дождю или радуге в небе. Придет в свой срок, сколько ни подгоняй, и нелепо досадовать на опоздание ливня. Еще нелепей велеть слугам повесить радугу на воротах, называя ее разными оскорбительными словами.

Ожидание Душегуба на пороге Обряда — не ожидание. Дождь явится вовремя, когда бы ни пришел. А завтра, после дождя, даже владыкам следует помнить, что жизнь не заканчивается нынешним днем. Что рассудительность — опора трона.

Густав-Хальдред, XVIII герцог Хенингский, был очень рассудительным человеком.

Это спасало, ибо жизнь становилась все более пресной.

— Anima mea laudabit te, et indicia tua me adjuvabunt!

[5] — Замковый капеллан сегодня превзошел сам себя. Ангельский напев. Звучный и трепетный. Отцы церкви, ничем не подчеркивая двойственного отношения к Обряду, тем не менее старались избегать прямого присутствия. Рассыпались в извинениях, ссылались на занятость, болезни, назначали службы и молебны именно в это время. Даже «Медная булла» Его Святейшества, папы Иннокентия II, где Обряд объявлялся делом сугубо светским и (косвенно) богоугодным, мало что изменила. Просто одновременные службы стали назначаться с завидным постоянством, и прелаты взывали к небесам истово, с душой, то ли освящая таким образом сомнительное действие, то ли замаливая невольный грех.

Впрочем, после сожжения еретика и хулителя Якоба Соломинки, в числе прочих своих ересей проклявшего Обряд на площадях Гента, Лиможа и Хенинга, уже двое митрофорных аббатов ответили согласием на приглашение его высочества Вильгельма Фландрского посетить семейный Обряд.

А папский престол в Авиньоне одобрил костер соответствующим декреталием.

Двери распахнулись, и четверо невольников-нубийцев внесли крытый паланкин. Стараясь двигаться как можно тише, они прошествовали до середины залы, где опустили ношу на пол. Старший нубиец откинул полог, благоговейно склонился и подставил плечо. Спустя минуту дряблая рука, вся в буграх и складках, явилась из недр паланкина. На обнаженном глянцевом плече невольника она смотрелась чуждой опухолью.

Сьер Томазо Бенони, придворный астролог и хиромант, начал выбираться наружу.

Был он чудовищно жирен, с кожей мучнисто-белого цвета, наводившей на мысли о проказе. Широкие одежды не могли скрыть уродства астролога, да сьер Томазо и не пытался его спрятать. Ноги плохо служили звездочету, дрожа в коленях от непомерной тяжести, но все-таки астролог целых пять шагов сделал самостоятельно, прежде чем нубийцы подхватили его под локти. Дальше он скорее висел, нежели шел, хотя Густав Быстрый соизволил обернуться к сьеру Томазо, ободряюще улыбаясь. Герцог давно привык к телосложению и болезненности верного пророка, точно так же, как привык к силе и здоровью собственных домочадцев.

Обряд есть Обряд, и у каждой полновесной монеты имеются две стороны. Ведь звезды небес и линии ладоней, певшие хором для Томазо Бенони, молчали для XVIII герцога Хенингского.

«Достойным — по заслугам».

Этот двусмысленный девиз украшал герб Хенинга.

Признавая за астрологом множество высоких достоинств, герцог двигался сейчас нарочито медленно, дабы сьер Томазо мог уследить за господином и оценить расположение. Это искусство — укрощать порывы тела, неудержимого в бою — Густав-Хальдред освоил с детства. Впрочем, в данном случае его высочество действовал, скорее подчеркивая благоволение, нежели по необходимости. Скорбный телом звездочет успевал подмечать и делать выводы куда быстрее, чем большинство вполне здоровых людей.

— Ваше высочество! — неожиданно высоким голосом, напоминающим флейту-пикколо, заговорил астролог. — Покорнейше молю простить задержку, но лишь сейчас мне удалось внести в Обрядовый гороскоп

последние изменения. Осмелюсь сообщить, что звезды предвещают удачу, но в ближайший месяц... атизар Сатурна, иначе неблагоприятное влияние планеты Трех Колец... а также состояние анахибазона, то есть восходящего узла лунной орбиты... я хотел бы!..

Сьер Томазо задохнулся и долгое время пыхтел, не в силах продолжить.

— Ваши преданность и мудрость хорошо известны нам, — Густав Быстрый отвернулся, продолжив смотреть в окно. Словно надеялся высмотреть зловещий «атизар» планеты Трех Колец. — Говорите спокойнее, сьер Томазо, берегите дыхание. Иначе черная желчь смешает течение ваших жизненных соков, и мы опять утратим удовольствие внимать вам. Лучше просто отвечайте на мои вопросы. Коротко и ясно. Вы увидели дурное влияние звезд на нынешний Обряд?

По-прежнему лишенный возможности говорить, астролог отрицательно мотнул головой.

— Значит, все завершится к вящей славе Дома Хенинга?

Утвердительный кивок. Стоя к сьеру Томазо спиной, герцог тем не менее кивнул в свою очередь, будто прекрасно видел жест звездочета.

— Превосходно, друг мой. — Всякий, хорошо знавший Густава Быстрого, понял бы, что в этот миг можно просить о любой милости: отказа не будет. — Значит, черная тень затемняет не настоящее, но будущее? Дальнее будущее? Ближайшее?

— Не тень, ваше высочество! — Голос вернулся к астрологу, но флейта превратилась в пастушью дудку, визгливую и захлебывающуюся. Нубийцы встали теснее, позволив хозяину опереться на них всем телом и обмякнуть, сберегая силы. — Отнюдь еще не тень, но возможность тени в будущем!

— Возможность? Дом Хенинга не первое столетие живет бок о бок с тенями и возможностями будущего.

Сохраняя свое место под солнцем настоящего.

Сегодня герцог был в прекрасном расположении духа.

Сегодня он шутил.

— Ваше высочество, — астролог потянулся вперед, едва не упав, и невольники шагнули ближе к окну, позволяя вести разговор шепотом. Вряд ли кто-то из рыцарей или герцогиня Амальда решились бы подслушивать, но предусмотрительный идет прямо в рай, а опрометчивым гореть в геенне огненной. — Речь идет о праве наследования и продолжении рода! Ваш благородный сын...

Губы Густава Быстрого дрогнули:

— Мой сын? Ты ведь сказал, что Обряд ждет удача!

— Да!

— Так что же?!

— Расположение звезд крайне двусмысленно, ваше высочество! Помимо Обрядового гороскопа, вчера я изучал ладонь вашего сына, и «Тропа Наследства» была отчетливо прерывиста, огибая Бугор Венеры, в то время как линия жизни...

— Мой сын умрет бездетным?! — беззвучно выдохнул герцог, но астролог понял вопрос.

Отстранив нубийцев, он выпрямился. Дыхание, смиримое мощью духа, выровнялось, багровость покинула лицо, и в осанке смешного толстяка появилась несвойственная ему обычно величавость. Герцога это не удивило: он знал за сьером Томазо внутреннюю силу, способную подчинять и направлять, силу, в какой-то степени сходную с его собственной. Не стоило завидовать судьбе тех, кто опрометчиво посмеялся бы над Томазо Бенони, звездочетом и хиромантом в шестом поколении. Знающие люди шептались: сьер Томазо многожды превзошел славу не только мавра Заэля Бренбрира и авраамита Мессагалы,

но также своих именитых земляков — Гвидо Боната и Антуано Маджини, мастера составления гороскопов.

Иногда Густав-Хальдред, XVIII герцог Хенингский, полагал, что его астролог способен не только читать письма звезд или книгу ладони человеческой, но и вступать с судьбой в более близкие отношения.

— Нет, ваше высочество! Звезды ясно говорят: род будет продолжен, причем продолжен именно вашим благородным сыном, но...

— Это все, что я хотел услышать. — Сиреневый отблеск на лице Густава Быстрого стал черным: солнце снаружи зашло за снеговую тучу. — Благодарю тебя, друг мой! Остальное ты расскажешь мне завтра... нет, через три дня. Когда Обрядовые празднества подойдут к концу.

— ...ad maiorem Dei gloriam!..^[6] — эхом вздрогнули стекла, а грозди винограда качнулись от перезвона колоколов.

На этих словах в тронную залу вошел Душегуб.

II

Мейстер Филипп ван Асхе вторую неделю жил в замке, оставив свой городской дом на попечение экономки. Неотступно следуя за молодым наследником (в самом скором времени, согласно решению отца — графом цу Рейвиш), мейстер Филипп делал это с завидным обаянием. Когда, обнажившись по пояс, юноша состязался в воинской науке с дружинниками и собственным гюрвеналом, мейстер Филипп восторженно рукоплескал каждой его победе. На охоте, видя, как будущий граф прямо с седла ловит за уши зайца-беляка и голыми руками валит в снег матерого секача, мейстер Филипп радовался столь заразительно, что все лица озарялись ответными улыбками. На пирах и балах, в умывальне, личных покоях наследника и коридорах замка, его сухопарая фигурка везде сопровождала герцогского сына, двигаясь слегка вприпрыжку, будто грач в поисках зернышка. К нему привыкли сразу. Соглашались, что гость — чрезвычайно приятный собеседник, особенно когда болтает о всяких милых пустяках. О каких именно? Да что вы! нет, а все-таки?.. ну, о погоде... и вообще...

Смысл речей гостя стирался в памяти собеседников быстрее, чем высыхает летом утренняя роса. Пожалуй, исчезни мейстер Филипп без предупреждения, о нем забыли бы еще легче, чем привыкли.

Сейчас же собравшимся в тронной зале показалось, что воздух внезапно согрелся. Легкий аромат прели (... *осень в лесу, косые лучи солнца, клены над оврагом...*) защекотал ноздри. Вплелась струйка живого огня и каленого металла. Не удержавшись, чихнула борзая Лэ. Лицо герцогини Амальды смягчилось, румянец тронул бледные щеки. Густав Быстрый прервал беседу с астрологом, задумчиво коснувшись пальцами лба,

словно пытался и не мог о чем-то вспомнить. Потом исчез у окна и возник в своем кресле. Нубийцы подхватили обессиленного звездочета, слабый шорох качнул ряды рыцарей, а мейстер Филипп все шел и шел, виновато моргая.

Обогнул паланкин.

Остановился.

Зачем-то поднял взгляд, внимательно рассматривая дубовые балки потолка. Вслушался. Звуки гэльской баллады «Тоска пилигрима» (*«...путь пилигрима к вершинам, вдаль, где струйкой дыма течет печаль...»*) паутинками всплыли из углов. Дрогнули, рассыпались трепетным звоном и исчезли, оставив по себе лишь память и тишину. У самой двери шевельнулся, чтобы вновь застыть, еще один сугроб: низкий, черный. Жерар-Хаген, вскоре граф цу Рейвиш, а в далеком будущем XIX герцог Хенингский, ждал Обряда, преклонив колени, укрытый плащом из глухого черного бархата. Согласно традиции сие означало ночь, откуда юноше суждено обновленному выйти к свету. «Не пред человеками склонюсь, но пред самим собой, дабы расстаться на перекрестке и направить стопы свои к величию и силе...» Большинство дворян не особо вникало в смысл «Зеркала Обряда», написанного, по слухам, чуть ли не Артуром Пендрагоном, но заученных отрывков вполне хватало, дабы оправдать некоторое умаление достоинства.

Ожидание, преклонение колен — «не пред человеками склонюсь, но пред самим собой...».

Солнце замерзло в витражах.

Наконец мейстер Филипп достиг тронного возвышения. Действия Душегуба испокон веку принимались участниками Обряда бесстрастно и с пониманием, что бы ни происходило. Даже королевские семьи соблюдали обычай, меньше всего желая рискнуть благополучием потомства в угоду гордыне. Вот и сейчас

мейстер Филипп в рассеянности забыл поклониться герцогине, свернув левей, но никто и не подумал возмутиться. Сбоку, у ступеней, ждала ширма, расписанная сценами соколиной охоты. Раздвинув ширму, Филипп ван Асхе открыл взорам низкую кафедру и налойный столец с водруженным поверх тиглем. У тигля беззвучно хлопотал карлик, одетый в длиннополый кафтан, — синдик^[7] цеха ювелиров, почтенный Роже Гоохстратен, ужасно волновался. Хотя он плавил золото с молодых ногтей, но одно дело заниматься этим в собственной мастерской и совсем другое — в тронной зале его высочества, на глазах ее высочества и сотни благородных рыцарей.

Впрочем, награда за труды — грамота с новыми привилегиями цеху ювелиров и лично синдикату Роже Гоохстратену — творила чудеса, превращая труса в храбреца.

Встав за кафедру, мейстер Филипп поставил сверху ларец, который раньше нес в руках. Откинул крышку. Черный сугроб у дверей (*...шелест ливня, чавканье грязи под тележным колесом...*) шевельнулся снова, но это не привлекло ничьего внимания. Все смотрели на руки Душегуба. Сухие руки с подвижными пальцами лютниста. Вот они погрузились в ларец: огладили, тронули... Вынули.

Взглядам явилась глиняная форма, изображающая человека.

Сотворенный Душегубом из глины, малый Жерар-Хаген, сын и наследник Густава Быстрого.

Высоко подняв голема над головой, мейстер Филипп почти сразу опустил его и поднес к тиглю. Карлик зацепил крюком ушко на спинке тигля, ловко наклонил — и струйка расплавленного золота скользнула в отверстие на темени голема.

Мейстер Филипп продолжал держать творение в руках.

Пока форма не наполнилась.

Рискуя потерять лицо, почтенный ювелир охнул от изумления, но его промах остался незамеченным. Потому что Душегуб, широко размахнувшись, швырнул фигурку через всю залу — и настоящий Жерар-Хаген встал навстречу, сбрасывая плащ на пол. Поймав самого себя (*...хруст льдинки под каблуком, порыв зимней вьюги...*), он ударил глиняным големом о косяк двери, и черепки брызнули прочь, превращаясь на лету в грязно-бурые капли.

В руках Жерара-Хагена осталась золотая статуэтка.

Ответно взмахнув, юноша отправил ее в обратный полет, и мейстер Филипп, обычно неуклюжий, поймал статуэтку с ловкостью площадного жонглера.

Золотой идол упал в ларец.

Хлопнула крышка.

По-прежнему молча, мейстер Филипп сунул ларец под мышку и побрел к дверям. Теперь Душегуб двигался тяжело, через силу, словно тело разом одряхлело, и лишь необходимость заставляла ноги мерить тронную залу. Казалось, он вот-вот упадет, выронив ношу, но никто не предпринял попытки вмешаться, помочь — как прежде не оскорблялись нарушением этикета. Действо творилось в молчании (*... ветер шумит в кронах дубов...*) и показном равнодушии. Когда мейстер Филипп поравнялся с паланкином астролога, за ним следом от окна двинулся герцог Густав, соразмеряя шаг с походкой измученного Душегуба.

У входа, где Густав Быстрый догнал Филиппа ван Асхе, юный Жерар-Хаген присоединился к ним.

Они шли в фамильный склеп Дома Хенинга.

III

По дороге им не встретилось ни единой живой души. Заранее предупрежденные, слуги забились в щели: замок вымер. Камень коридоров, едва согретый коврами, ступени лестниц. Статуи предков в углах. Пустота глядит вслед из мраморных, остывших глазниц. Двери: дубовые, с кольцами в виде змей, или наборные, с тусклыми панно, чей лак давно пора подновить. Мрак копился под сводами потолков. Солнце слепо тыкалось в окна, как кутенок в брюхо мамы. Лужами света блестело на паркете, не рискуя сунуться наверх, где пауки расшивали темноту кружевами. Наконец окна и солнце остались позади. Шли молча. На устах мастера Филиппа играла улыбка: растерянная и слегка виноватая. Скоро кончится февраль.

Скоро весна.

Последняя лестница свернулась в кольцо. Вот и усыпальница.

Медленно, очень медленно двигаясь между ниш с саркофагами предков, Густав Быстрый вспоминал свой собственный Обряд. Как давно это было. Как ярко. Как празднично. Жизнь казалась желанным подарком, который тебе уже протянули, но ты еще не взял. Сейчас возьмешь. Сейчас... Взял. Привык. Дар стал обыденностью, рутиной, пылью в углах и завистливыми шепотками за спиной. Славой на турнирах. Пободами в редких, неизменно удачных войнах. Верностью вассалов. Необходимостью соразмерять каждый жест с ущербностью окружающих. Возможностью не соразмерять. Завистью к Фернандо III, королю Кастилии и Леопа. Род Кастильца древнее, и однажды при встрече Густав Быстрый понял, что иногда испытывают его собственные вассалы, глядя на герцога Хенингского. Впрочем, зависть успела со временем

потускнеть, как дверные панно. Никаким лаком не подновить. Господи, почему тоска и безразличие? откуда взялись? уйдут ли?!

Сердце билось ровно, не давая ответа.

Жерар-Хаген шел, еле сдерживая восторг. Жизнь казалась желанным подарком, который тебе уже протянули, но ты еще не взял. Сейчас возьмешь. Сейчас... Графский титул, и там, в тумане будущего (продли, Господь, отцовы годы!..), — герцогская корона. Ликование по поводу Обряда. Здравницы в честь молодого наследника. Рыцарство в ордене Колесованной Рыбы. Помолвка с дочерью маркиза де Мондехара. Невесту юноша ни разу не видел, но это неважно. Невеста, безусловно, прекрасна. Как прекрасен будет турнир в Мондехаре, где наконец удастся блеснуть во всей красе. Он превзойдет отца. Он, Жерар-Хаген Хенингский, Жерар Молниеносный, покорит непокорных и смирит гордых. Осталось чуть-чуть.

Вот и заветная ниша.

О чем (...*сладость ладана, тихий хор мальчиков...*) думал Душегуб, осталось тайной.

Улыбка, похожая на маску, и все.

Трое остановились возле ниши, где ждал пустой саркофаг с надписью: «Жерар-Хаген из Дома Хенинга». Гордая скромность слов. Жерар-Хаген. Из Дома. Хенинга. Для понимающих — более чем достаточно. Для Всевышнего — тем паче.

И малый неф над входом в нишу.

Мейстер Филипп передал юноше ларец со статуэткой. Вдруг, будто впервые (...*топот копыт: табун несется над рекой...*), заметив наследника, низко-низко поклонился. Сдернул берет, отступил к стене. Замер в ожидании: весь смирение, весь благоговейный трепет. Жерар-Хаген посмотрел на отца. Дождался одобрительного кивка, привстал на цыпочки...

Ларец занял в нефе положенное место.

...когда они шли обратно — герцог Густав первый, следом его сын и, завершая процессию, мейстер Филипп, больше не улыбаясь, — тихий хор мальчиков слышали все трое. Высокие, нежные голоса. Низкий гул органа. Благовест звонницы в отдалении: «In te, Domine, speravi».^[8] Ответное эхо в нишах, где стояли саркофаги предков. Эхо в малых нефах, где хранились ларцы, ларцы, ларцы...

Прахом был, златом стану, воссияю народам...
«Зерцало Обряда», песнь третья.

Золотые статуэтки Дома Хенинга дремали под крышками.

IV

— А кого же ты считаешь подлинными философами?

— Тех, кто любит усматривать истину.

— Это верно; но как ты это понимаешь?

Платон. «Государство»

— К вам посетитель, мейстер!

Филипп ван Асхе поднял голову от книги. Рябой слуга, сутулясь, маялся в дверях. Он всегда робел, заходя в библиотеку хозяина, этот великан по прозвищу Птица Рох. Боялся стеллажей, бумаги, пергамента, чернильницы с пером, панически робел темных значков, коварно скрывающих в себе тайны смысла... Больше Птица Рох не боялся ничего. Восемнадцать лет назад кухарка обнаружила на пороге дома корзину с подкидышем. Мальчик посинел и уже не плакал: лишь вздрагивал от смертной икоты. Мейстер Филипп велел напоить ребенка теплым молоком, потом увеличил жалованье кухарке без объяснения причин. Женщина оказалась понятливой. В церкви Св. Сульпиция малышу дали имя Жан-Клод, но, когда он в десять лет задушил бешеную собаку и, гордый, приволок труп домой — хвастаться! — мейстер Филипп назвал его Птицей Рох. Никто из прислуги не знал, что это значит, но прозвище прижилось.

А имя забылось.

— Прогнать? — заботливо спросил Птица Рох, приняв молчание обожаемого хозяина за раздражение.

— Ты спросил: кто?

Мейстер Филипп никого не ждал. После Обряда (... *вороны кричат над холмом...*) в Хенингском замке, как после любого другого Обряда, Душегубов обычно старались не беспокоить месяц-другой. Традиция. Предрассудок. Впрочем, если кто и обладает

бессмертием в нашем бренном мире, так это Господин Предрассудок и его родная сестра, Госпожа Привычка.

— Ага. Хозяин, он сказал: Утис. Разве есть такое имя: Утис?

— Есть. По-древнеэллински: Никто.

— Тогда прогнать? — единожды что-то решив для себя, Птица Рох упорно следовал избранному пути. — Он меня киклопом обозвал... Иди, говорит, киклоп, передай. Можно я ему за киклопа в морду?

— Что «передай»? Он тебе дал что-то?!

— Ага... вот эту гадость...

В лапище Птицы Рох обнаружился рукописный свиток. Довольно объемистый, аккуратно перевязанный лентой. Слуга держал его брезгливо, двумя пальцами, и в то же время с явной опаской, будто свиток готов был оборотиться гадюкой.

— Дай сюда.

Взяв свиток, мейстер Филипп развязал ленту. Долго вглядывался в заглавие. Глаза совсем плохие стали. Или просто память брызнула слезами, застит взор? Боже, как давно... сколько лет прошло...

Иоанн Капуанский, «Directorium vitae humanae».

«Наставленье жизни человеческой».

Латынь. Знакомый почерк переписчика.

— Впусти его... — Мейстер Филипп (*...дым костра ест глаза...*) помолчал. И вдруг улыбнулся по-настоящему, что с ним случалось крайне редко. Все остальные улыбки не в счет. — Впусти его, киклоп.

Дождался, пока тяжкие шаги Птицы Рох оплывут вниз, воском со свечей. А дверь прикрыть забыл, растяпа... Потом еще обождал. Шаги: на два голоса. Знакомые, гулкие — и легкая поступь. Почти не слышно из-за Птицы. Память идет. Из прошлого — сюда. Боже, как давно...

— Заходи, Мануэль, — сказал Душегуб. — Рад тебя видеть снова.

Человек, вошедший в библиотеку, был одет поверх светского платья в монашеский плащ с капюшоном. Но сразу становилось ясно: он не монах. Сбросить капюшон человек забыл и шагнуть дальше порога тоже забыл. Стоял, смотрел на Филиппа ван Асхе.

Темно-карие глаза.

Цепкий, пристальный взгляд, похожий на ланцет хирурга.

— Что, изменился?

— Да, — кивнул человек, которого называли Мануэлем. — Стал таким же, как все ваши. Единственная на свете гильдия, которой не нужно иных названий. Просто: Гильдия. И любому понятно. Знаешь, я иногда думаю: чем вы похожи? Разные, но все равно: сразу видно...

— Сразу видно: Душегуб, — спокойно закончил мейстер Филипп. — Раньше, милейший фармациус Мануэль, ты не церемонился в выражениях. Говорил без запинки. Помнится, университет в Саламанке частенько трясся от твоего острого язычка. Стареешь, дорогой Мануэль. Или прикажешь величать тебя: дон Мануэль? Идальго де ла Ита?

— Не прикажу, — Мануэль по-прежнему стоял у порога. — Я больше не идальго. Я — скромный белец ^[9] обители цистерцианцев, что в окрестностях Хенинга. В скором времени приму постриг.

— Ты решился покинуть мир? Принять устав Цистерциума?!

Филипп ван Асхе встал. Мануэля де ла Ита он не видел со дня окончания Саламанкского университета, где мейстер Филипп учился на теологическом факультете, а сам Мануэль — на медицинском. В будущем придворный фармациус Фернандо Кастильского, жизнелюб и остролов Мануэль был первым в учебе и первым на проказы. Знаток трудов

Авиценны и Аверроэса, гуляка и бражник, составитель уникальных снадобий, слегка алхимик, почти колдун, завсегдатай местных лупанариев,^[10] где веселые девицы были от него без ума, — о да, Саламанка надолго запомнила Гранда Мануэлито!

— Тебя там тоже запомнили, — кивнул Мануэль, и мейстер Филипп понял, что последние слова произнес вслух. — Бунтарь и реформатор, ты едва не обрел костер вместо степени магистра. Чего стоил один твой тезис на защите квадривиума: «Если бы Всевышнего не существовало, его стоило бы создать!» Помнится, «псы Господни»^[11] слюной изошли... А ты предложил им отправить твой диссертат в Авиньон: пусть Его Святейшество решает. Я к тому времени вернулся в Кастилию. Пытался позже справиться о тебе: впустую. Одни говорили, что тебя бросили в застенки, другие — что ты бежал...

— Людям свойственно ошибаться, — уклончиво ответил мейстер Филипп.

Имел ли он в виду себя молодого, подверженного еретическим заблуждениям, говорил ли о сплетниках, обсуждавших его судьбу, или вовсе речь шла о застенках и побеге — осталось неясным.

Мануэль наконец прошел к столу. Взял свиток, послуживший пропуском.

— Извини, дорогой друг, это я заберу. Из всего имущества я взял лишь пять книг: больше не унести в дорожном мешке. Бежал ты или нет, но я бежал точно. Фернандо Кастилец не отпустил бы так просто своего придворного фармацевта...

Он подумал, вертя в руках свиток. Капюшон упал на лоб, почти скрыв лицо.

— ...и личного отравителя, — глухо закончил он.

Мейстер Филипп сочувственно вздохнул. Из чего следовало: сказанное не было для него тайной.